Эль Вейн

# Психолог для Ангелов

**Эль Вейн**

# Психолог для Ангелов

*https://litres.ru/74689877*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

У каждого человека есть ангел с блокнотом. Он записывает желания, и Душевная Канцелярия исполняет их буквально, даже если человеку от этого станет хуже. Ангелы выгорают, их Души ранятся о чужие желания, и тогда они идут на приём к Михаилу — самой мудрой душе Канцелярии, психологу, который двести лет учит их быть рядом, а сам уже не помнит, каково это — быть живым.

Однажды в Канцелярию приходит новый ангел. Её зовут Анна. Михаил любил её в нескольких жизнях, и в каждой она уходила первой. А у ангела Демиса своя беда: его подопечная Полина подписала договор с конторой, которая исполняет желания по-чёрному, и теперь он сам стал залогом. Чтобы вернуться к ней, ему придётся найти слова, которых нет ни в одной инструкции.

«Психолог для Ангелов» — философское фэнтези о том, что помощь — это не решать за человека, а стоять в трёх шагах и не уходить.

# Содержание


| | |
|---|---|
| Потрясающие | 5 |
| Первый прием | 10 |
| Метрики и чудеса | 22 |
| Шкафчик выгорания | 31 |
| День из жизни психолога | 42 |
| Тихие совпадения | 57 |
| Когда хочется вмешаться | 68 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 75 |

# Эль Вейн
# Психолог для Ангелов

**Психолог для Ангелов**

# Потрясающие

Знаете ли вы о той самой притче об Ангеле с блокнотом, которую часто транслируют психологи, когда их клиенту нужно понять суть происходящего? Когда вы о чем-то думаете, позади вас стоит Ангел с блокнотом и записывает ваши желания. Да, именно так, ваши мысли – это ваши желания, именно поэтому не стоит думать о плохих событиях. Если среди ваших мыслей есть такие: «У меня никогда нет денег» или «Мой сын катится по наклонной» в утвердительной форме, знайте, Ангел уже записал их исполняет. Все именно так, как вы пожелали. Если же в вашем мыслительном рационе больше подобных мыслей: «Я богат» или «Моя семья любит меня», то это тоже принято к исполнению. Мы есть то, что мы думаем. Наше будущее определяется тем, что мы замыслили и тем, какие при этом картинки нарисовали.

Вселенная часто подбрасывает нам знаки, символы, события для того, чтобы мы менялись и меняли реальность вокруг себя, однако, погрязнув в пучине негативных преставлений, мы не замечаем спасательных путей и продолжаем загадывать «неправильные» желания. Хотя, кто сказал, что они «неправильные», если мы сами это все желаем. Для Ангела нет понятия «правильные» и «неправильные». Для него существует только желание, правильное по определению. Хотите? Получите! Будет дано по просьбе вашей.

Однажды Ангел приносит исписанный блокнотик в Душевную Канцелярию, где строгий небесный чиновник запускает в работу все причуды подопечного в работу. В точности, как написано. Однако, Ангелу даются инструкции о том, что же произойдет в итоге от исполненного желания Клиента, а тот начинает создавать структуру и верстать причинно-следственные связи для осуществления задуманного.

Парадокс всего действия состоит в том, что часто у Ангелов возникает внутренний конфликт интересов. С одной стороны, если Клиент замыслил себе дюжину проблем, Ангел обязан передать все в Канцелярию. Но его задача состоит еще и в том, чтобы Клиент проживал свою жизнь в более-менее отведенном ему диапазоне и не почил раньше времени на погосте. А Клиенты бывают очень искушенными в попытке себя уничтожить пораньше, облачая свои потребности в причудливые формы, несовместимые с их жизнью. Одни покупают мотоциклы, другие прыгают с «тарзанки», третьи идут на Эверест без акклиматизационной подготовки. Одним словом, творят форменную дичь без страха и упрека.

Ангелы в таких случаях работают буквально на износ, подставляя свои крылья на растерзание, а потом «зализывают раны» в просторах необъятной Душевной Канцелярии, где берут внеочередной отпуск дабы усмирить себя и успокоиться. Работать Ангелом не просто. На эти должности назначаются самые опытные Души. Часто некоторые родственники изъявляют желание охранять своего потомка, но так бы-

вает не часто. После инструктажа, когда сердобольный родственник понимает всю суть мыслей и желаний, а также их исполнения, отказывается от роли, потому как душа болит за отпрыска. С течением жизни человека, Ангел может меняться. Точнее, когда аппетиты Клиента растут, ему в сопровождение дают более мудрую Душу, которая может анализировать и где нужно подстелить соломки.

Работа Ангелов выходит за грань любого понимания. Хитросплетения настройки мира под те или иные желания человека, это, скажу я вам, целая история! Подстроить, настроить, увезти, привезти, подтолкнуть, вытолкнуть – все эти глаголы лишь часть процесса. А встроить органично в жизнь не каждому Ангелу под силу. От неумелой работы Ангела среди людей потом появляются теории заговора о сбоях в матрице и рептилоидах, но это совсем другая тема. Мы, люди, живущие на Земле, привыкли объяснять все простым опытом, основанным на событиях прожитых лет, подслушанных или подсмотренных людских историй. Однако, мир совсем не такой, как нам кажется. Если мы чего-то не видим, это не значит, что этого не существует.

Ангелы – потрясающие сущности. Потрясают судьбы людей, складывая феноменальные обстоятельства. Но и вытрясают из людей все их желания и сопоставляют с возможностями. Потрясающие. Многие скептики сейчас скажут: «Где были ваши Ангелы, когда со мной случилась беда?» Потрясения в жизни могут быть как со знаком плюс, так и минус,

как в математике. Но минус на минус всегда дает плюс, об этом тоже не стоит забывать. Ангелы с нами в то время, когда мы спим и бодрствуем, когда едим и смотрим кино, когда ругаемся и миримся, радуемся и печалимся. Они всегда и повсюду подле нас в своем сопровождении. И да, они тоже устают и хандрят. Их Души ранятся о нас и наши желания, в то время как расцветают от благодарности. Мир Ангела настолько же наполнен изобилием эмоций, насколько возможно это измерить. Мы, люди, привыкли все измерять. Время, скорость, длину, калории. А что, если предположить нечто совершенно бесконечное? Или бесконечно малое? Наше воображение не способно это представить, хотя квантовая физика подтверждает существование и этих величин. Ангелы могут управлять бесконечным спектром эмоций, разделяя полутона и смешивание тех или иных чувств. Например, когда человек на неприятность в сердцах произносит фразу: «Я так и знал!». Человек в это время испытывает сразу две яркие эмоции – гнев на ситуацию и радость от осознания своей правоты. Так и живем.

Неудивительно, что Душевная канцелярия задумывается о своих стражах желаний и предусматривает разные чистки и замеры состояния самих Ангелов. Поэтому было создано целое подразделение, которое занимается излечением раненных ангельских Душ. О нем и пойдет повествование в этой книге, поэтому устраивайтесь поудобнее, если хотите узнать что же мы, люди, делаем с нашими Ангелами и с чем им по-

том предстоит приходить к своим Душевным психологам за советом.

# Первый прием

Итак, вы устроились поудобнее. Теперь можно и войти, потому что рассказывать о Душевной Канцелярии со стороны занятие неблагодарное: снаружи она выглядит как очень большой аэропорт, и этим, в общем-то, всё сказано.

Внутри светло, просторно и немного гулко, как бывает в местах, где люди (и не только люди) всё время куда-то спешат с чемоданами. Стеклянные галереи уходят вверх, эскалаторы шелестят, где-то за поворотом гудит кофейный автомат, выдающий, впрочем, не кофе, а воспоминания о нём, что для многих Душ оказывается полезнее. Над стойками регистрации висит табло, и если вы думаете, что на нём написано «рейс Москва — Анталья, выход 14», то вы сильно недооцениваете масштаб заведения. На табло другое: «Душа № 4 887 231, вылет по расписанию. Багаж: обида, вес не указан»; «Душа № 12 004 517, регистрация отложена по причине упрямства Клиента»; «Душа без номера, просьба подойти к стойке 3 и не привлекать внимания». Души стоят в очереди, переминаются, поправляют на плечах то, что у кого осталось: у одного чемодан с наклейками из всех городов, где он успел побывать, у другого узелок, у третьего и вовсе ничего, кроме самолюбия, которое в багаж не сдаётся и в ручную кладь не проходит.

Объявление над очередью звучит мягко, но так, что ослу-

шаться невозможно: «Уважаемые Души, просьба не задерживаться в зоне выдачи. Всё, что вы не успели сказать, будет сказано за вас. Проверено». И все двигаются, потому что там, наверху, действительно многое сказано за нас, и сказано, надо признать, не всегда в нашу пользу.

В глубине, за стеклянными галереями и бесконечными коридорами с одинаковыми дверями, находятся кабинеты. Один из них занимает центр поддержки Ангелов, и там ведётся приём: не тот, на который приходят с жалобами на здоровье или на тёщу, а тот, на который приходят с тем, что осталось от ангельских потрепанных крыльев.

Дверь кабинета Михаила узнать нетрудно. Дерево дорогое, латунная табличка начищена до блеска, а на табличке выгравировано: «Душевный психолог. Приём по записи. Без записи — по совести». Приписка сделана не по регламенту, а самим Михаилом, и Рахиль, куратор и администратор смысла, уже три раза просила её убрать, потому что совесть в инструкции не предусмотрена и по форме не отчитывается. Михаил не убирал. Совесть, говорил он, тоже своего рода форма, просто заполняется сама и всегда не почерком исполнителя.

В кабинете всё так, как бывает в комнатах, куда заходят не для того, чтобы подписать бумагу. Монументальный шкаф из тех сортов дерева, которые на Земле уже не растут, а если и растут, то стоят дороже дома. Камин, в котором огонь держится ровно и не дымит, кожаные кресла с продавленны-

ми подлокотниками, пледы, свёрнутые так, что к ним хочется прилечь, а не просто взять. Старинный патефон, у которого игла помнит больше, чем иные хроники. И окно в пол, за которым демонстрируется природа: сегодня тихая аллея, мокрые после дождя листья, свет фонарей в лужах. Время суток за окном настраивается по запросу, но Михаил заказывал его редко и всегда выбирал вечер, потому что в вечере больше правды, чем в жарком утре. Кажется, что в этом кабинете всегда ночь. Ну и ковёр с длинным ворсом, по которому приятно пройтись босиком, если вам когда-нибудь выпадет случай снять обувь в небесной канцелярии, а такой случай, скажу я вам, выпадает не всем.

Сам Михаил сидел за столом, наклонившись к журналу приёма, и на носу у него были очки, а на плечах шерстяная кофта на пуговицах, из тех, что греют не потому, что тёплые, а потому, что в них уже кого-то любили. Проседь в волосах, спокойные руки, фарфоровая чашка на блюдце, поставленная на подставку, чтобы, не дай бог, не оставить на дереве следа. Из всех ангельских Душ он был самой мудрой, единственный, кому разрешался доступ к древней книге судеб, и потому он один мог подсмотреть за каждым, кто в эту минуту живёт на Земле, и узнать, что у человека на самом деле происходит внутри, пока тот сам рассказывает всем совсем другое.

Между нами говоря, это не такое уж преимущество, как кажется.

Чайник он ставил сам, потому что доверял процессу чая больше, чем процессу отчётности. Сегодня, впрочем, чайник остался холодным. Утром был первый приём, еще один день работы в новом качестве, и Михаил, при всей своей мудрости, при всей привычке к людям и к их неисчерпаемой способности удивлять, всё-таки волновался. Мудрость состоит не в отсутствии страха, а в привычке не показывать его тому, кто пришёл к тебе за помощью. Страх остаётся, просто сидит в кресле и молчит.

Он открыл журнал и прочёл строчку, вписанную аккуратным, слегка наклонённым почерком секретариата: «Серафим. Стажёр. Повод: подопечный игнорирует знаки. Срочность: паника». Ниже приписка, сделанная, судя по нажиму, второпях: «Пришёл сам, без записи. Просил принять немедленно. Сказал, что больше так не может, повторил это ещё два раза».

Михаил закрыл журнал, поправил очки и сказал: «Пусть заходит».

Дверь открылась почти сразу, будто за ней стояли и ждали, в кабинет вошёл молодой ангел. Такой красивый, что в этой комнате стало немного светлее. В комнатах, где Михаил принимал, лишнего света не хватало. Блондин, голубые глаза, широкая белоснежная улыбка, которая, впрочем, в этот раз не включалась, костюм с иголочки, будто он только что сошёл с витрины другого столетия, и вид человека, у которого рухнуло всё, включая те части, о существовании которых

он сам не подозревал.

— Серафим, — сказал он с порога. — Но лучше Сима, потому что Серафим — это долго, а у меня, честно говоря, каждая минута на счету.

Он не сел в кресло, а сел на его край, так, будто кресло было чужим и, не дай бог, ещё обидится. На коленях у него лежали два блокнота, и он придерживал их обеими руками, как держат то, что в любой момент может улететь.

— У меня подопечный, — начал Сима и тут же поправился: — У меня Клиент. Я стажёр. Первый год. И у меня всё по инструкции, я проверял трижды, я даже конспект составил отдельный, у меня есть блокнот «Как надо» и блокнот «Как вышло», и вот в «Как вышло» пока что очень много пустых страниц, а в «Как надо» уже почти нет места, потому что там всё написано мелко и с двух сторон, но это не важно, важно другое.

— Дышите, — посоветовал Михаил.

— Я дышу. Я дышу, но у меня не работает.

— Что не работает?

— Всё, — сказал Сима с той простотой, с какой люди сообщают о конце мира, а потом уточняют: — Знаки. У меня есть список знаков первой необходимости. Падающая звезда. Радуга. Кошка перебежала дорогу. Это база, без этого никак, потому что человеку нужно понять, что он не один, и для этого существуют общепринятые символы, которые человек узнаёт без объяснений. И я их все выдал. Все три. В

течение месяца. По графику, с интервалами, чтобы не перегружать.

Михаил молчал.

— Падающая звезда, — продолжал Сима, и голос у него делался всё тоньше. — Он в тот вечер смотрел в телефон. В телефон! Над ним небо падало, а он смотрел, как кто-то выложил фотографию своего ужина. Радуга. Радуга была идеальная, по всем правилам, с полным спектром, я сам её выстраивал четыре часа. Он в это время был в подземном переходе и покупал зарядку для телефона. Зарядку! Кошка, — тут Сима выдохнул, — кошка перебежала ему дорогу. Я лично её уговаривал, между прочим, она вообще-то не хотела, у неё были свои планы. Он перешагнул и пошёл дальше. И даже не заметил, что она чёрная. Он вообще не различает, какая кошка какого цвета, для него все кошки одинаковые.

— А зачем вы выдавали кошку? — спросил Михаил.

Сима поднял на него глаза, и в них было столько искреннего непонимания, что Михаилу на секунду стало жаль весь небесный регламент вместе с приложениями.

— Как зачем? Для знака. Чтобы он понял.

Михаил снял очки, протёр их рукавом кофты, водрузил обратно. В кабинете стало тихо, только патефон в углу доживал пластинку, да за окном в луже у фонаря кто-то из демонстрационной природы аккуратно уронил каплю.

— Расскажите мне про него, — попросил Михаил. — Только не про знаки. Про человека.

— Про человека... — Сима задумался так, будто ему предложили сдать экзамен по предмету, который он никогда не учил. — Ну, у него всё по желаниям сходится. Я всё записываю, у меня за год ни одного пропуска. Он желает много, но однообразно: чтобы отпустило, чтобы получилось, чтобы хватило. Я передаю в Канцелярию, ему исполняют в точности, как задумано, а он потом удивляется. Вот тут-то мне и надо было его поймать, да? На этом месте? Это же идеальный момент для знака, я и дождь устроил.

— Дождь?

— Лёгкий. Специально под момент осознания. Чтобы он вышел, поднял лицо, и тут как бы свыше, и он бы понял. — Сима замолчал, потом добавил совсем тихо: — Он расстроился, что промок. И купил зонт.

Михаил впервые за приём улыбнулся, и улыбка у него была не утешительная, а какая-то очень человеческая, из тех, что появляются на лице, когда человек вспоминает себя молодым и глупым и почему-то радуется этому.

— Зонт, — повторил он. — Надо же.

— Это провал, — сказал Сима. — Я вписал в «Как вышло»: «Дождь — ноль. Зонт куплен. Осознания не последовало». И подчеркнул. Я, наверное, не гожусь. Мне ведь говорили, что стажёров с такой внешностью особенно любят ведьмы, а я думал, что это шутка. Это не шутка, но это единственное, что у меня хорошо получается. А служение у меня не получается.

Он замолчал, и в этом молчании было столько честного ужаса, сколько бывает только у очень молодых, которым впервые сказали, что мир не отвечает по инструкции.

Михаил смотрел на него долго, потом поднялся, подошёл к шкафу и достал книгу. Тяжёлую, с потёртыми углами, с застёжкой, которую он открыл без нажима, легко, как открывают дверь собственного дома. Древняя книга судеб не любила, когда её читали для отчёта, и открывалась не каждому, но Михаилу она открывалась так же охотно, как открывается ладонь.

Страницы в ней были не совсем страницы. Если смотреть искоса, они оставались бумагой, плотной, желтоватой, с пятнами от времени; если смотреть прямо, в них шла жизнь. Не текст, не отчёт по форме, а жизнь, в которую можно заглянуть и увидеть, как человек в эту минуту ставит чайник, снимает ботинки, гладит кота, о котором весь день не вспоминал, и кот делает вид, что ему всё равно.

— Вот он, — сказал Михаил. — Ваш.

Сима подался вперёд и увидел маленькую прихожую, полку с ключами, зеркало, свет из кухни. Его Клиент стоял у двери, в мокром пальто, и пытался поставить в угол то, за что заплатил деньги.

— Зонт, — сказал Сима упавшим голосом.

— Зонт, — согласился Михаил. — Вы, кажется, записали: «Осознания не последовало».

— Не последовало.

— Не последовало, — Михаил перевернул страницу, и страница послушно перевернулась, как будто ждала этого. — А теперь смотрите не на зонт. Смотрите на него.

Человек в прихожей поставил зонт, снял пальто, повесил его и не пошёл сразу на кухню, а постоял. Просто постоял в темноте, в мокрых ботинках, и было видно, как он слушает, что за окном. Дождь шёл ровно, негромко, по-осеннему, и в этом звуке для него вдруг оказалось столько всего, чего он год не слышал: как мать встречала его у школы и держала зонт так, чтобы вода стекала с него, а не с сына; как она потом ворчала, что он опять промочил ноги; как она умерла в феврале, и он не успел, и уже никогда не успеет. Он не заплакал. Он просто достал телефон и позвонил сестре, с которой не разговаривал полтора года, и сказал: «Привет. Ты как?»

— Ой, — сказал Сима.

— Вот именно.

— Но это же не по инструкции.

Михаил закрыл книгу и вернул её на место, и застёжка щёлкнула так, будто кто-то поставил точку в конце очень длинного предложения.

— Инструкция, — сказал он, усаживаясь обратно в кресло, — это способ не забыть, что вы делаете. Это не то же самое, что смысл того, что вы делаете. Вы хотели, чтобы он поднял голову и заметил. А он опустил голову, купил зонт и вспомнил мать. Вы считаете это провалом. Я считаю, что в этот вечер рядом с ним кто-то был.

— Кто-то был, — повторил Сима. — Но он же меня не заметил.

— А вы хотели, чтобы вас заметили?

Сима открыл рот, чтобы ответить, и закрыл. В «Как надо», если честно, было написано многое, но такого пункта в нём не было.

— Знак, — продолжал Михаил, — это не событие. Это то, что человек в нём увидел. Вы можете разложить на небе полный спектр, и человек пройдёт под ним в подземном переходе, потому что у него умер телефон и весь мир сузился до зарядки за четыреста рублей. А можете устроить лёгкий дождь, и человек промокнет, купит зонт, постоит в прихожей и позвонит сестре. Что из этого знак?

— Дождь, — сказал Сима тихо.

— Дождь, — кивнул Михаил. — Только не тот, который свыше, а тот, который в человеке. И заметьте: он вам ничего не должен. Он вообще не обязан замечать, что его любят. Любовь, которая требует, чтобы её заметили, называется уже как-то иначе, и мы этот термин оставим для бухгалтерии.

За окном в луже у фонаря снова упала капля, и демонстрационная природа тихо переложила листья на аллее.

— И что мне теперь писать? — спросил Сима, открывая блокнот на нужной странице, где стояло подчёркнутое «Дождь — ноль». — Я не могу оставить как есть, это неправда. Но и «сработало» написать не могу, сработало не то, что я планировал.

— Напишите правду, — сказал Михаил. — Это в вашей профессии самое сложное и самое редкое. «Человеку было холодно и одиноко, и он купил зонт. Ангел был рядом».

Сима писал долго, высунув от старания язык, и в конце поставил точку и посмотрел на неё с таким видом, будто впервые в жизни видел ручку.

— А знаки первой необходимости? — спросил он. — Их что, отменять?

— Не отменять. — Михаил наконец дотянулся до чайника, и тот обрадовался так, что загудел раньше времени. — Просто добавьте в список ещё один пункт, и поставьте его первым. «Быть рядом». Остальное — по обстоятельствам. Кошку, кстати, не надо больше уговаривать. У неё тоже есть своя жизнь, и она, между нами, не обязана участвовать в вашей отчётности.

Сима встал, прижал блокноты к груди и улыбнулся, и улыбка вышла наконец та самая, широкая, белоснежная, из-за которой в приёмной у Рахиль вечно застревали посетительницы с вопросами, не требующими ответа.

— Спасибо, — сказал он. — Я, пожалуй, пойду. У меня подопечный, у него там опять всё по желаниям.

Он ушёл, и дверь за ним закрылась тихо, будто тоже старалась быть рядом.

А Михаил остался сидеть с чашкой, смотрел на вечер за окном и думал о том, что всех их, ангелов, стажёров и ветеранов, мудрых и не очень, учат одному и тому же, и учат

каждый раз заново: что человек не отвечает на сигнал, но слышит того, кто рядом. Мы, люди, вообще плохо слышим небо и очень хорошо слышим шаги за дверью. Наверное, поэтому нам и приставляют не громкоговоритель, а Душу, которая иногда устаёт, хандрит, покупает себе что-нибудь дорогое из фарфора и всё равно остаётся.

В журнале приёма на завтра уже была вписана следующая строка. Почерк секретариата на этот раз был какой-то уж слишком аккуратный, будто тот, кто писал, специально старался, чтобы его потом хвалили. Михаил прочёл её, вздохнул и поставил чашку на подставку.

Первый приём закончился. Началось всё остальное.

# Метрики и чудеса

Утро в Канцелярии начинается не с рассвета, потому что рассвета тут нет, а с того, что где-то в глубине коридоров включается свет и по стеклянным галереям начинает идти гул. Гул этот состоит из шагов, объявлений по громкой связи и редких возгласов тех Душ, которые всю ночь готовились к разговору с чиновником и теперь забыли все слова.

Первую строчку в журнале приёма на сегодня Михаил прочёл ещё накануне вечером и с тех пор успел придумать о ней три разных мнения. Строчка была такая: «Ариэль. Старший ангел направления знаков и подсказок. Повод: снижение показателей. Просит приём с приложениями». Слово «приложениями» стояло с большой буквы, как будто речь шла не о бумагах, а о родственниках, которых она приведёт с собой.

Приложения явились ровно в назначенное время и объявили о себе раньше, чем Ариэль переступила порог. По стуку её каблуков в Канцелярии уже давно сверяли часы и настроение: если стук шёл ровный, как метроном, значит, всё по плану; если сбивался на бег, значит, у кого-то сейчас будет комиссия. Сегодня каблуки печатали так, что в ковре с длинным ворсом оставался след, а на лицах Душ в приёмной появлялось выражение, с каким люди обычно вспоминают, закрыли ли они утюг.

Ариэль вошла, и кабинет стал меньше. Высокая, статная, в туфлях, прибавляющих к её росту ещё столько, сколько не всякий ангел готов вытерпеть; с родинкой над губой и глазами такого яркого зелёного цвета, что в них, казалось, видно будущее, причём в виде таблицы. За ней, как на поводке, плыл рулон: развернулся над столом, растянулся в воздухе и засветился графиками. Второй рулон пристроился рядом, третий занял место у окна и слегка подрагивал, будто от нетерпения.

— Можно? — спросила Ариэль, хотя уже всё заняла.

— Проходите, — сказал Михаил. — Чаю?

— Некогда, — она села в кресло, выпрямив спину так, что спинка кресла почувствовала себя неловко. — У меня к вам вопрос эффективности, и он срочный. Я тут посчитала.

— А если я скажу, что я не по этой части?

— Я скажу, что вы по всем частям, — Ариэль развернула первый рулон и разгладила его ладонью, как разглаживают скатерть перед гостями. — Вот. Падение эффективности знаков за квартал. Минус восемь целых три десятых процента к распознаванию. Вот здесь, — она ткнула пальцем, — провал по падающим звёздам. Здесь, — палец поехал вправо, — по радугам, тут по кошкам. По кошкам, между прочим, самое дно. Люди перестали замечать кошек. Кошки, Михаил, это база. Если человек не замечает кошку, которую к нему послали, мы вообще непонятно чем занимаемся.

Михаил посмотрел на график. График был красивый: ли-

нии сходились, точки висели ровно, столбцы стояли, как солдаты. Внизу, где полагается, была подпись: «Исполнитель: Ариэль. Форма 7-М. Приложения на трёх листах».

— Впечатляет, — сказал он.

— Это не впечатляет, — горько возразила Ариэль. — Это тревожит.

— А вы присядьте.

— Я сижу.

— Тогда дышите. — Михаил откинулся в кресле. — Рассказывайте, что вы сделали.

Она рассказала охотно, потому что человек, у которого есть данные, рассказывает о них, как о детях. Она сделала всё правильно, по методике, которую сама же и разработала: разбила подопечных на две группы, сопоставив их по возрасту, темпераменту, часовому поясу и толщине кошелька. Первой группе знак выдавали через сон, потому что сон считается каналом с максимальной проводимостью: человек беззащитен, образ проникает, утром он думает, что это он сам придумал. Второй группе знак давали через случайную фразу в автобусе: кто-то на соседнем сиденье произносит именно то, что нужно, и человек, по идее, должен вздрогнуть и переменить жизнь.

— И что? — спросил Михаил.

— А то! — Ариэль развернула второй рулон, и он вспыхнул цифрами. — Процент узнавания ничтожен. Сон: ноль целых четыре десятых. Автобус: ноль целых две. То есть из

всей выборки почти никто не понял, что это было послание. Один мужчина сказал жене, что ему странно снились цифры, и пошёл менять тариф на телефоне. А женщина из автобуса решила, что это реклама матрасов. Матрасов!

— А остальные?

— Остальные решили, что это совпадение, — Ариэль произнесла слово «совпадение» так, как произносят название болезни. — И пошли пить кофе. Обе группы. Они все пошли пить кофе, Михаил. У меня в отчёте есть точка, где эти две линии сходятся: это столик у кофейни на углу, время пятнадцать сорок. Я даже не знаю, как это теперь вписывать в проценты.

Михаил встал, подошёл к патефону, выбрал пластинку, поставил, и по кабинету поплыло что-то старое, с виолончелью и очень медленное, будто специально назло графикам.

— А ты учитываешь, — спросил он, возвращаясь, — что люди не алгоритмы?

Ариэль застыла. Ей, судя по всему, ещё никто не задавал вопроса, который не предполагает вариантов ответа из выпадающего списка.

— Но у меня есть данные! — сказала она.

— Данные хорошие, — согласился Михаил. — Данные замечательные. Ты не данные мне принесла, ты мне принесла себя. Ты вложила в эти столбцы месяц работы, ты не спала, наверное, ты каждую звезду пересчитала, а в конце получила столбик у кофейни.

— Именно! — Ариэль подняла подбородок. — Я и говорю: показатели надо поднимать.

— А зачем?

Она открыла рот и закрыла. Третий рулон у окна подрагивал уже совсем нехорошо.

— Затем, — сказала Ариэль медленно, — чтобы людям было понятно, что им подсказывают.

— Им и не нужно понимать, что им подсказывают.

— Тогда зачем вообще знаки?

Михаил посмотрел на неё внимательно, без всякой снисходительности, потому что снисходительность он считал самой бесполезной формой жестокости.

— Потому что в какой-то момент человек должен почувствовать, что он не один, — сказал он. — Не то, что ему подсказывают, а то, что рядом кто-то есть. Знаешь, что чувствует человек, когда видит радугу и думает «это совпадение»?

— Ничего, — сказала Ариэль. — По моим данным, ничего.

— Ошибаешься. Он чувствует себя немного меньше, чем хотел. А потом идёт пить кофе и берёт второй кусок пирога, который не собирался брать. И вот с этим уже можно работать.

Ариэль нахмурилась. Складка между бровей у неё получалась ровная, вертикальная, как разлинованная страница.

— Это не результат, — сказала она. — Это фон. Я не могу сдать фон в качестве результата, меня Рахиль съест. У меня

в графе «эффект» стоит прочерк, а прочерк — это не отчёт, это признание.

— А ты поставь туда слова.

— Какие слова?

— Человеку стало чуть меньше одиноко. Чем не эффект?

Ариэль посмотрела на него так, как смотрят на человека, который предлагает измерить длину линейкой, у которой нет делений. Потом посмотрела на свои рулоны. Первый рулон тихо светился, и в его свечении было что-то от усталой лампы в кабинете зубного врача: всё правильно, всё по форме, а заходить не хочется.

Михаил тем временем встал второй раз, достал с полки кофейник, фарфоровый, с тонкой золотой каймой, и налил в чашку, которую перед этим согрел. Не из автомата, который в галерее выдаёт воспоминания о кофе, а настоящего, сваренного, с тем самым запахом, из-за которого люди в аэропортах опаздывают на рейсы.

— У меня приём двадцать минут по регламенту, — сказала Ариэль.

— У нас уже двадцать пять.

— Тем более.

— Выпейте, — сказал Михаил и поставил чашку перед ней. — Это не отступление от регламента. Это приложение к протоколу.

Она взяла чашку, подержала, отпила и на секунду перестала быть старшим ангелом направления. Просто женщина

в кресле, у которой очень устали глаза.

— Я не понимаю, чего от меня хотят, — сказала она тише. — Мне говорят: знаки не работают. Я делаю так, чтобы работали. Я меряю, я сравниваю, я нахожу узкие места. Я, между нами, уже почти вывела формулу: если давать знак в четверг после шести вечера, вероятность узнавания повышается на одиннадцать процентов. Одиннадцать! Это же прорыв. А потом приходит ангел с крыльями в бинтах и говорит, что человек просто шёл мимо и не поднял головы.

— И что ты ему отвечаешь?

— Что у меня выборка.

Михаил усмехнулся и снова сел напротив, и в кабинете стало как-то по-домашнему, будто они не беседуют о процентах, а пьют кофе на кухне у общих знакомых.

— Ариэль, — сказал он. — Данные — это не истина. Это способ не сойти с ума, когда истина слишком большая. Ты не можешь измерить, почувствовал человек, что он не один. Ты можешь заметить, что после дождя он купил зонт и позвонил сестре. Это не доказательство. Это след. По следам, если очень повезёт, видно, что кто-то рядом прошёл.

— То есть мне не нужно больше A/B-тестов? — спросила Ариэль почти жалобно, и в этом вопросе было столько надежды, что Михаил едва не рассмеялся.

— Тебе нужно больше кофе и меньше стресса. — Он кивнул на чашку. — И, возможно, перестать считать совпадения как KPI. Совпадения — это не показатель. Совпадение —

это единственный способ, которым мы умеем быть рядом, не пугая.

— А если совпадений слишком много?

— Тогда человек начинает подозревать, что мир о нём помнит. Это, знаешь ли, тоже неплохо. Хуже, когда совпадений нет вовсе.

Ариэль допила кофе, поставила чашку точно на подставку, встала и принялась сворачивать свои рулоны. Первый она свернула аккуратно, второй тоже, а третий, тот, что дрожал у окна, не поддался: он вывернулся, хлестнул её по плечу и повис, показывая в углу что-то совсем уж неприличное, вроде столбца под названием «процент чудес».

— Ладно, — пробормотала она, — уберу «процент чудес». Переименую. Пусть будет «доля случаев, когда человек всё-таки поднял голову».

— Вот это, — сказал Михаил, — уже почти поэзия.

— Это учёт, — строго ответила Ариэль и пошла к двери, стуча каблуками значительно спокойнее, чем вошла.

У самой двери она обернулась.

— Михаил. А если он всё-таки заметит? Ну, радугу. Один человек из тысячи. Что мне тогда с ним делать?

— Ничего, — сказал Михаил. — Просто запиши. И не пересчитывай.

Дверь закрылась, и кабинет вернулся к своему обычному размеру. На ковре у окна осталось светлое пятно от третьего рулона, а в воздухе висел запах кофе, который тут, между

нами, не пахнет ничем, кроме воспоминания, и потому ценится особенно дорого.

Мы, люди, очень любим таблицы. Мы раскладываем по столбцам возраст, доход, шаги, сон, давление и думаем, что теперь-то всё про себя знаем. А потом идёт дождь, мы покупаем зонт и звоним сестре, с которой не разговаривали полтора года, и ни в один столбец это не влезает. И хорошо, что не влезает. Значит, кое-что у нас ещё остаётся за пределами отчётности.

Показатели за квартал, кстати, в тот раз тоже выросли. Ариэль потом так и не смогла объяснить, почему.

# Шкафчик выгорания

Гавриил пришёл в пятницу, когда приёма по расписанию не было вовсе. В журнале на этот день стоял прочерк, а прочерк Михаил любил больше любой строчки, потому что прочерк не требует от тебя быть мудрым, он требует только одного: чтобы ты сидел и пил чай, пока в коридорах кто-то другой разбирается с причинно-следственными связями.

Сначала в дверь постучали тростью. Потом она же, трость, появилась в проёме, потом пенсне, потом и весь Гавриил: белая рубашка, дорогая, выглаженная так, что складочка к складочке, пиджак официальный, осанка человека, который когда-то носил сюртук и до сих пор считает, что времена испортились исключительно в смысле покроя. От него пахло хорошим одеколоном и старыми бумагами, и это сочетание в Канцелярии знали все: если в коридоре запахло архивом и приличным парфюмом, значит, Ветеран идёт.

— Михаил Андреевич, — сказал Гавриил с порога. Он всех называл по имени-отчеству, даже тех, у кого отчества отродясь не водилось. — Не помешал?

— У меня прочерк.

— Превосходно. Прочерк — это лучшая форма отчётности, — Гавриил прошёл к креслу, сел, положил трость рядом с собой, ровно, как кладут инструмент, и вздохнул так, что плед на спинке соседнего кресла слегка шевельнулся. — А

у меня, знаете ли, форма двенадцать-Б. Рахиль прислала. В трёх экземплярах. Три экземпляра, Михаил Андреевич. Как будто я один раз не заполню, и она меня поймает на слове.

— И вы заполнили?

— Заполнил. — Гавриил помолчал. — Соврал.

Он сказал это просто, без всякого вызова, как сообщают о погоде, и стал смотреть на окно, за которым демонстрационная природа показывала осенний парк: дорожку, скамейку, фонарь, листья, лежащие в луже так картинно, что любой художник заплакал бы от зависти. Природа работала по заказу и не знала, что в кабинете в эту минуту одному из самых старых ангелов Канцелярии очень нужно, чтобы за окном было хоть что-нибудь честное.

— В графе «уровень вовлечённости» я поставил «стабильный», — продолжал Гавриил. — В графе «признаки выгорания» поставил «не выявлены». В графе «рекомендации куратору» написал: «сократить объём отчётности». Рахиль посмеялась и подписала. Она вообще-то умная женщина, она, наверное, всё поняла, но у неё тоже форма, и в её форме графы «поняла» не предусмотрено.

Михаил ничего не сказал. С Гавриилом нельзя было начинать с вопроса, с Гавриилом нужно было начинать с молчания, потому что он триста лет работал с людьми и знал наизусть все приёмы, которыми из человека вытаскивают признание. Он их все проходил на себе и все заранее не любил.

— Ариэль, кстати, мне в коридоре встретилась, — сказал

Гавриил. — С рулонами. Сказала, что вы разрешили ей не мерить чудеса. Я ей ответил, что она, вероятно, единственный ангел в этом здании, который умудрился потерять столбец и стать от этого счастливее. Она обиделась. По-моему, она теперь меня не любит.

— Она вас любит.

— Ну, тогда она меня не любит немножко, — Гавриил усмехнулся и постучал пальцем по подлокотнику. — Ладно. Я ведь не за этим.

— Я догадался.

— У меня к вам дело. — Он выпрямился. — Только не здесь. У меня. Там шкафчик.

Михаил посмотрел на него поверх очков.

— Шкафчик, — повторил Гавриил с достоинством. — Прошу. Это недалеко, я, к сожалению, теперь хожу медленно, но зато с тростью, и это производит на Душ впечатление. Души думают, что я важный и серьезный. Пусть думают.

Они пошли по коридору. Канцелярия в это время суток жила вполголоса: где-то за стеклом шла регистрация, кто-то в галерее убеждал автомат выдать не воспоминание о кофе, а кофе; стайка молодых ангелов, тех, что ещё недавно стажировались и ходили с блокнотами, о чём-то спорила у стойки, и при виде Гавриила все они почему-то вытянулись, будто на смотре. Он с важным видом кивнул им, и это было короче любой речи.

За поворотом, в конце служебного ответвления, где свет

был потише и пахло бумагой, обнаружилась дверь без номера. За дверью оказалась комната, в которой не было ничего монументального, зато было всё нужное: потемневший от времени стол, два стула, полка с чайником не первой молодости, у окна кресло с продавленной подушкой, на стене карта, испещрённая пометками чьей-то давней рукой. А в углу стоял шкафчик. Металлический, серый, с облупившейся краской и с табличкой, прикрученной шурупами, а на табличке от руки было выведено: «Не открывать в присутствии куратора».

Михаил прочёл табличку и не улыбнулся, и Гавриил это оценил.

— Присаживайтесь, — сказал он. — Чай холодный, но крепкий. У меня всё холодное, но крепкое, я в этом смысле человек прошлого века.

— Гав.

— Сейчас, — Гавриил достал из кармана ключ, маленький, на кожаном шнурке, и медленно, будто в последний раз, вставил его в замок. — Видите ли, Михаил Андреевич, я вам не жаловаться пришёл. Жаловаться — это когда ждёшь, что полегчает. Я пришёл сие творение продемонстрировать.

Замок поддался с сухим щелчком, и дверца открылась.

Внутри лежали бумаги. Стопками, ровно, по годам, и стопок было столько, что полки прогибались под тяжестью времени. Сверху, на первой папке, лежал лист с заголовком, набранным на машинке, крупно, с уважением к читателю: «Че-

ловек поступил нелогично. Сводка». Ниже, помельче: «Случаи, которые невозможно объяснить инструкцией, а также здравым смыслом. Хранить вечно. Не предъявлять куратору».

Михаил поднял верхний лист.

— Можно?

— Теперь уж обязательно, — сказал Гавриил. — Раз открыли, надо читать. Иначе получится, что мы просто так сюда шли.

Лист был старый, бумага пожелтела по краям, но чернила держались крепко. «Двенадцатое марта. Женщина тридцати четырёх лет, вдова, двое детей. Всю ночь собирала документы, чтобы отказаться от наследства мужа: долги, споры с его роднёй, всё как по нотам. Утром пришла в контору, простояла в очереди сорок минут, дошла до окошка и подала заявление. Наследство приняла. Причина: в очереди перед ней сидел старик и рассказывал внуку, как жарил картошку. Женщина сказала себе: „Пусть у детей будет дом“. Дом с долгами. Нелогично».

Михаил перевернул лист. Там было продолжение, написанное от руки, тем же ровным почерком: «Через год дом продали и купили маленькую квартиру. Дети до сих пор помнят, как в том доме пахло. Что это было, я не знаю. Гипотеза: люди иногда выбирают не выгоду, а запах».

— Триста лет? — спросил Михаил.

— Чуть больше, — сказал Гавриил. — Но я начал не сра-

зу. Сначала я их просто запоминал. Потом понял, что память у меня, как у всех, имеет свойство забиваться всякой ерундой, и тогда завёл папку. Потом вторую. Потом вот.

Он обвёл рукой шкафчик, и в этом жесте не было ни капли гордости. Так показывают не коллекцию, а шрам.

— И что вы с ними делаете?

— Ничего. Складываю. — Гавриил опустился на стул, и стул под ним скрипнул, как старый товарищ. — Видите ли, в чём дело. Когда слишком много смысла, им можно захлебнуться. Приходишь вечером, а у тебя в голове за день сорок человек, и каждый поступил не так, как ты от него ждал, и каждый по-своему прав, и всё это надо как-то уложить. Вот я и укладываю. В шкафчик. Не открывать в присутствии куратора, потому что если куратор увидит, сколько я не понимаю, у неё будет виртуальный инфаркт, а у меня — комиссия.

Михаил взял следующую папку. «Человек поступил нелогично», — стояло и здесь, и под этим: «Молодой человек, двадцать шесть лет, инженер. Получил повышение, о котором мечтал три года. В тот же вечер поссорился с невестой из-за того, кто должен выносить мусор. Ушёл из дома, просидел до утра на детской площадке, в песочнице, и на работе на следующий день сказал начальнику, что не готов. От повышения отказался. Причина, по его словам: „Я не хочу быть человеком, который приходит домой и говорит, что устал“. Гипотеза: он испугался не работы. Он испугался, что станет таким же, как его отец, а мусор был просто поводом. Через

полгода взял другое повышение. В другой фирме. С той же невестой. Живут».

— Тут в основном про то, как люди делают себе больно, — сказал Михаил.

— Не только. — Гавриил вытянул из середины стопки тоненькую папку, почти пустую. — Вот. Здесь у меня самое страшное.

Михаил открыл. На одном листе, в двух строчках: «Двадцать второе августа. Мужчина, сорок один год, всю жизнь считал себя циником и всех в этом убеждал. В половине шестого утра, пока жена спала, вынес на улицу чужого кота, которого сбила машина, и, чтобы его не увидели дети из соседнего двора, отнёс в посадку и закопал. Никому не сказал. Отчётов не требует. Гипотеза: я всё-таки не знаю людей».

— Почему самое страшное? — спросил Михаил.

Гавриил помолчал, потом снял пенсне, протёр его накрахмаленным платком с вышитыми инициалами, и без пенсне лицо у него сделалось не циничным и не официальным, а просто уставшим и очень старым.

— Потому что я видел всё, — сказал он. — Всё, слышите. Войны, голод, предательства, как люди друг друга продают за деньги, которых им всё равно не хватит. И знаете, что самое страшное?

— Ну?

— Люди делают добро, когда думают, что их никто не видит. — Гавриил надел пенсне обратно, и лицо у него снова

стало официальным, только голос не слушался. — Вот это ломает любую статистику. Я триста лет составляю сводки. Я знаю, сколько людей предаёт, сколько бежит, сколько молчит. Я, если хотите, живу на этих числах, они у меня вместо перил. А потом какой-нибудь мужчина в половине шестого утра несёт чужого кота к ветеринару, и все мои числа летят к чёрту. Потому что он сделал добро и не потребовал, чтобы его увидели. Никто не увидел. Я увидел, а он даже не знает, что за ним кто-то стоял.

Он замолчал, и в комнате стало слышно, как на полке остывает чайник, как за окном в служебном ответвлении тихо гудит вентиляция, как где-то далеко, в галерее, объявляют регистрацию очередной Души.

— И что вас в этом пугает? — спросил Михаил.

— То, что тогда я ничего не понимаю, — сказал Гавриил просто. — Если добро делается втихую, если оно не поддаётся учёту, то я не могу его предсказать. А если не могу предсказать, значит, я не могу человека защитить. Я не могу подстелить соломки. Я только и умею, что стоять рядом и надеяться, что он в этот раз не свернёт себе шею, — он поморщился и добавил: — Извините. Я говорю, как молодой.

Михаил сел на второй стул, тот, что был пониже, и это было единственное, что он сделал, но в комнате сразу стало как-то иначе.

— Гав, — сказал он. — То, что вы называете цинизмом, — это не истина. Это усталость. Истина у вас лежит вон там,

в шкафчике, в папке про кота, и вы её держите под замком, чтобы она вам не мешала работать.

— Она мне не мешает, — возразил Гавриил. — Она меня держит.

— Это одно и то же, только с разных сторон.

Гавриил хотел что-то сказать, но не сказал. Он смотрел в окно, где осенний парк демонстрировал свои лучшие листья, и молчал долго, столько, сколько молчат люди, у которых очень много слов и все они уже сказаны раньше, много лет назад.

— Я устал, — проговорил он наконец. — Они столько раз ошибаются, столько раз делают больно, и всё равно продолжают жить. Каждое утро встают, варят эту свою кашу, ведут детей в школу, ссорятся из-за мусора, мирятся. Я смотрю на них триста лет и до сих пор не понимаю, откуда у них это берётся. И, честно говоря, я боюсь одного, Михаил Андреевич. Я боюсь, что в один прекрасный день мне станет всё равно.

— Это вряд ли.

— Почему?

— Потому что равнодушные не держат шкафчиков, — сказал Михаил.

Гавриил посмотрел на него поверх пенсне, и в этом взгляде было что-то от старого актёра, которому неожиданно досталась хорошая реплика.

— А может, в этом и смысл? — сказал Михаил. — Не в том, чтобы не ошибаться. А в том, чтобы продолжать, даже

когда тяжело.

Гавриил отвернулся к окну.

— Звучит как плохая мотивационная открытка, — сказал он.

Михаил рассмеялся, коротко и совсем не по-небесному, и этот смех в комнате без номера прозвучал громче, чем все сводки вместе взятые.

— Зато правда.

— Ну да, — Гавриил подумал, потом кивнул. — Ладно. Тогда я просто буду рядом. Даже если они этого не заметят.

Он поднялся, и Михаил поднялся следом. Шкафчик остался открытым, и впервые за много лет Гавриил не стал запирать его на ключ. Ключ он повертел в пальцах, подумал и положил на полку, рядом с чайником.

— Табличку оставьте, — сказал Михаил с порога.

— Табличку оставлю, — согласился Гавриил. — Табличка — это всё, что у меня осталось от скромности.

Они пошли обратно по коридору, и Ветеран уже стучал тростью бодрее, а у стойки регистрации всё ещё спорили молодые ангелы с блокнотами, и один из них, тот, что был похож на витрину другого столетия, что-то горячо доказывал остальным, размахивая сразу двумя блокнотами.

Мы, люди, никогда не узнаем, сколько раз за нашу жизнь кто-то стоял у нас за спиной и молчал. Мы не узнаем, сколько добра было сделано без свидетелей, сколько раз за нас заступались, сколько раз чья-то усталая Душа, вычеркнув себя

из отчётности, просто оставалась рядом. Некоторые говорят, что это и есть ангелы. Я бы не стала спорить. Но если вы сегодня сделаете что-нибудь доброе и вас никто не увидит, знайте: где-то в Душевной Канцелярии один старый циник в белой рубашке достанет папку, запишет это в графу «Человек поступил нелогично» и будет весь вечер улыбаться, потому что из-за вас у него опять ничего не сойдётся.

# День из жизни психолога

В субботу в журнале стоял прочерк.

Михаил любил прочерки больше любой строчки. Прочерк ничего от тебя не требует: не надо быть мудрым, не надо задавать вопрос, который перевернёт всё, не надо к вечеру обнаруживать, что унёс с собой чужую боль и не знаешь, куда её поставить. Прочерк — это когда можно сидеть с чашкой и смотреть, как демонстрационная природа за окном показывает октябрь, и не притворяться, что ты что-то понимаешь.

Он налил чай, сел в кресло и поставил чашку на подставку. Потом подумал и достал с полки книгу.

Древняя книга судеб не любила, когда её открывают для отчёта, но Михаилу она открывалась легко, как открывается ладонь. Он не стал искать никого важного: ни начальство, ни знаменитостей, ни тех, о ком пишут в учебниках. Он искал своих.

Психологом он был в той жизни. В прошлой, единственной, человеческой, из которой потом получилась эта — с кабинетом, камином и вечным вечером за окном. У него тогда был кабинет на втором этаже, с окном во двор, и на двери висела табличка, и в приёмной стояли три стула, из которых средний всегда скрипел. Он принимал людей по сорок минут, вёл записи от руки, потому что не любил печатного блеска, и очень долго верил, что если найти правильные сло-

ва, человеку станет легче.

Слова он находил хорошо. Это и было его главной ошибкой.

Он переворачивал страницы, и страницы показывали жизнь: не текст, не отчёт по форме, а то, как человек в эту минуту ставит чайник, снимает ботинки, гладит кота. Михаил искал не всех подряд — только тех, кого помнил по именам. И находил.

Вот женщина, которая не могла ездить в лифте. Ей было тридцать восемь, она работала в банке на двенадцатом этаже и каждое утро поднималась пешком, приходя на работу с мокрой спиной. Михаилу понадобилось четыре месяца, чтобы она начала ездить на два этажа. Всего два. Он тогда считал это поражением. Сейчас в книге она стояла на кухне, резала лук и смеялась над чем-то, что говорил ей сын-подросток. Ей было уже пятьдесят два. Лифт в её доме, судя по всему, работал исправно.

Вот мужчина, который не мог простить отца. Отец ушёл, когда ему было девять, и вернулся через тридцать лет, больной, с чемоданом, и он не смог его выгнать. Михаил тогда говорил с ним о прощении, и это было очень умно, и совершенно бесполезно. В книге мужчина сидел на балконе с отцом, и они молчали, и у отца на коленях лежал плед. Через месяц отец умер. В книге было видно, как мужчина после похорон стоит в опустевшей комнате и держит в руках его чашку, и не плачет, и это было хуже, чем если бы плакал.

Вот девочка, шестнадцать лет, которую привела мать: «Она ничего не хочет». Михаил тогда долго искал в ней желание и нашёл одно — она хотела собаку. Мать сказала: «Это несерьёзно». Девочка выросла и стала ветеринаром. В книге у неё на столе сидел кот с забинтованной лапой, и она говорила с ним так, как говорят с людьми, которые понимают.

Михаил закрыл книгу, потом открыл снова.

Он редко признавался себе, что проверяет их. Что за двести лет он нет-нет да и посмотрит, что стало с человеком, которого он когда-то вёл. Словно сдавал экзамен, который давно закончился, а оценки всё не объявляли. Словно надеялся, что где-то в этих страницах найдётся строчка, которая скажет: «Ты был не зря».

Строчки такой не было. Были люди. У кого-то всё было хорошо, у кого-то не очень, кто-то уже умер. Михаил смотрел на них и понимал, что не имеет к этому никакого отношения. Они жили без него. Они и должны были жить без него.

А потом он открыл страницу на букву «Л».

Льва Семёновича Гурвича привела дочь. Вернее, не привела, а позвонила и сказала: «Он целыми днями сидит и читает, и ничего больше. Мне кажется, он сдаётся». Дочь жила в другом городе и приезжала два раза в год.

Ему было шестьдесят восемь. Он был учителем литературы, тридцать лет в школе, и когда он вошёл в кабинет, Михаил сразу понял три вещи: что перед ним человек, который

привык, чтобы его слушали дети; что он смертельно устал; и что он надел белую рубашку, чтобы прийти к психологу, как ходят в театр.

Он вошёл с тростью — после перелома шейки бедра, и трость ему не нравилась, он держал её так, как держат чужой зонт. Очки у него висели на цепочке. От него пахло одеколоном и старыми бумагами, и это было странное сочетание: как будто в комнату вошёл архив, который только что побрился.

— Гурвич Лев Семёнович, — сказал он и сел, не дожидаясь приглашения. — Я вас, вероятно, разочарую. Я не собираюсь рассказывать вам про детство.

— И не надо, — сказал Михаил.

— Вот и славно. — Лев Семёнович поставил трость рядом, ровно, как кладут инструмент. — Тогда я сразу скажу, зачем пришёл. Я разучился видеть людей.

Михаил ждал.

— Я всю жизнь преподавал литературу. Я умел находить в человеке то, чего он сам в себе не видел, и показывать ему это, и он расцветал, и я был нужен. А теперь я смотрю на своих бывших учеников и вижу только их ошибки. Я смотрю на соседей и вижу только их глупость. Я смотрю на дочь и вижу, что она меня не любит, и, честно говоря, понимаю, что для этого есть причины. — Он помолчал. — Мне шестьдесят восемь лет, и я стал человеком, который всё понимает и никого не любит. Это, как вы догадываетесь, не то, к чему я стремился.

— Что произошло? — спросил Михаил.

— Жена умерла. Два года назад. — Лев Семёнович сказал это ровно, будто читал по бумаге. — Я не то чтобы страдаю. Я не плачу по ночам и не разговариваю с её фотографией. Я просто перестал понимать, зачем всё это. Зачем проверять тетради, зачем здороваться с соседями, зачем говорить дочери, что я её люблю, если она всё равно не берёт трубку. — Он посмотрел на Михаила поверх очков. — Вы мне сейчас скажете, что это нормально и что пройдёт.

— Не скажу, — сказал Михаил.

— Почему?

— Потому что вы умный человек, и вы это уже слышали. И потому что оно не прошло.

Лев Семёнович смотрел на него секунду, потом засмеялся — коротко и совсем не обидно.

— Ладно, — сказал он. — С вами, кажется, можно разговаривать.

Они разговаривали полгода, по средам, в четыре. Лев Семёнович приходил с тростью, в белой рубашке, всегда выглаженной, и всегда приносил с собой что-нибудь: то книгу с закладкой, то стихотворение, переписанное от руки, то монетку, которую нашёл на улице. Он не любил говорить о себе прямо и рассказывал всё через литературу: через Чехова, который умел видеть людей, через Толстого, который не умел, через своего бывшего ученика, который стал врачом и теперь «понимает в людях больше, чем я».

Михаил тогда был молод в профессии и очень старался. Он задавал вопросы, выстраивал схемы, искал, где у Льва Семёновича болит, и не мог найти. Тот был как хорошая книга, у которой нет начала и конца, а есть только середина, и в этой середине всё, в общем-то, хорошо, и только читать почему-то грустно.

На пятом месяце Лев Семёнович сказал:

— Знаете, я тут подумал. Люди делают добро, когда думают, что их никто не видит.

Михаил поднял голову.

— Это почему?

— Потому что когда видят, это уже не добро, а выступление. — Лев Семёнович усмехнулся. — Я тридцать лет смотрел на детей и знаю: они делают добро не для меня, а когда думают, что я не смотрю. И знаете, что я вам скажу? Это ломает любую педагогику. Потому что педагогика — это когда ты смотришь. А жизнь — это когда не смотришь.

Михаил тогда не записал эту фразу. Он вообще редко записывал фразы. Но он её запомнил.

На шестом месяце Лев Семёнович пришёл и сказал:

— Я должен вам кое в чём признаться. Я написал дочери письмо. Ещё в марте. Оно лежит у меня в Чехове, на странице двести сороковой, и я его не отправляю.

— Почему?

— Потому что если я его отправлю, а она не ответит, я этого не выдержу. — Он помолчал. — А пока оно лежит в

книге, я могу думать, что она его не получила.

— Лев Семёнович.

— Знаю, — сказал он. — Знаю, что вы скажете.

— Я скажу, что вы уже написали письмо. Значит, вы уже решились. Осталось только перестать держать его в Чехове.

Лев Семёнович смотрел на него долго. Потом вздохнул так, как вздыхают люди, которые очень устали быть разумными.

— Ладно, — сказал он. — Отправлю. Но если она не ответит, я приду к вам и буду говорить об этом сорок минут.

— Договорились.

Она ответила через десять дней. Позвонила, говорят, вечером, и разговор у них был короткий, потому что они оба не умели долго, но после этого Лев Семёнович пришёл в среду и весь приём рассказывал Михаилу про свою внучку, которую никогда не видел, и про то, что в апреле поедет.

Он умер через год. Во сне. Дочь привезла на похороны его Чехова — с закладками, с пометками, с той самой страницей двести сорок, на которой письма уже не было.

Михаил узнал об этом не сразу и не от дочери. Он узнал через книгу, случайно, когда искал другого человека на букву «Г» и наткнулся на фамилию.

А теперь, двести лет спустя, в его кабинет вошёл старый ангел в белой рубашке, с тростью, в очках на цепочке, и сказал, что люди делают добро, когда думают, что их никто не видит.

Михаил тогда не подал виду. Он двести лет умеет не подавать виду. Он спросил про шкафчик, прочитал бумаги, сказал про цинизм как усталость, и всё это время в нём сидело одно и то же чувство, которое он не мог назвать.

Он не спросил Гава, откуда тот знает эту фразу. Он боялся, что тот ответит.

Была в той жизни и другая страница. Михаил редко открывал её, но она была, и он знал её наизусть.

Её звали Женя. Двадцать семь лет, корректор в издательстве, живёт одна, мать в другом городе. Пришла она не с жалобой, а с формулировкой, которую Михаил потом неоднократно слышал от ангелов: «Со мной всё в порядке, просто я устала».

Они говорили четыре месяца. Женя была умная, тихая, с чувством юмора, от которого в комнате становилось теплее. Она рассказывала про книги, которые вычитывала, про автора, который перепутал все даты, про кота, который спал на рукописях. Она никогда не опаздывала и всегда извинялась, если ей казалось, что она говорит слишком долго.

Однажды она сказала:

— Я не хочу умирать. Я просто не вижу, зачем просыпаться.

Михаил тогда задал правильный вопрос. Он спросил, что бы она делала, если бы завтра ей не надо было на работу. Она подумала и сказала: «Поспала бы». Он спросил, что было бы, если бы она могла спать сколько хочешь. Она сказала: «Всё

равно проснулась бы». И засмеялась.

Он записал: «Признаков суицидального риска нет. Астенический синдром. Рекомендовано наблюдение». И направил её к врачу. Она не пошла. Он не настоял.

Потом он много раз прокручивал этот разговор. Слово за словом, паузу за паузой. Он искал в нём то, что пропустил, и находил десяток мест, где надо было спросить иначе. Может, она ждала, что он переспросит. Может, она вообще пришла не за техникой, а за тем, чтобы кто-то сказал: «Я вижу, что вам плохо, и это не пройдёт само».

Он не сказал. Он был профессионалом.

Её нашли через два дня. Михаилу позвонила мать — не с обвинением, а с вопросом, приходила ли к нему Женя и говорила ли что-нибудь такое, что стоило бы услышать. Он ответил: «Приходила. Говорила». И мать долго молчала в трубку, а потом сказала: «Спасибо, что вы были с ней».

Он повесил трубку и сел на пол в приёмной, между тремя стульями, из которых средний всегда скрипел.

Через неделю он написал заявление.

Он не устроил сцен, не обвинял никого, не говорил, что профессия бессмысленна. Он просто пришёл, положил лист на стол и сказал, что уходит. Коллеги говорили, что он сгорел, что ему надо отдохнуть, что через месяц он вернётся. Он никому не объяснял. Он вообще в те дни мало говорил.

Он решил писать книги.

Это было логично: в книге можно всё объяснить. В книге

у каждого поступка есть причина, у каждой боли — смысл, а если герой умирает, то не зря, а чтобы читатель что-то понял. В книге можно написать человека, который приходит к психологу, и психолог его спасает, и это выглядит правдой.

Он купил бумагу. Хорошую, плотную, дорогую. Поставил на стол. Написал первую фразу. Потом вторую. Потом перечитал и понял, что написал не про Женю, а про себя — умного человека, который всё понимал и никого не спас.

Он выбросил лист и больше не садился.

Через две недели он пошёл на набережную. Просто так, без цели, потому что дома было нечего делать, а на улице стоял октябрь, и в октябре ему всегда было легче: в октябре можно было не притворяться, что всё расцвело.

Он шёл по набережной, и на середине моста увидел мужчину.

Тот стоял у перил, спиной к городу, и смотрел вниз, на воду. Пальто на нём было расстёгнуто, и ветер его отгибал, и он не поправлял. Михаил потом много раз думал: если бы он в тот вечер пошёл другой дорогой, если бы задержался на работе, если бы не поленился и сел на автобус — ничего бы этого не было. Но он пошёл этой дорогой. Так бывает.

Он остановился в трёх шагах. Именно в трёх — он потом заметил, что всегда останавливается в трёх.

— Холодно, — сказал он.

Мужчина не обернулся.

— Да.

— Вы давно здесь стоите?

— Не знаю. — Мужчина помолчал. — Часа два, наверное.

Михаил стоял рядом. Он не думал о технике, о правильных вопросах, о том, что надо сказать в таких случаях. Он вообще ни о чём не думал. Просто стоял, и ветер дул ему в лицо, и вода внизу шла тёмная, с блёстками от фонарей.

— У вас есть кто-нибудь? — спросил он наконец.

— Нет.

— Совсем?

— Жена ушла. Работы нет. Дочь не хочет меня видеть. — Мужчина говорил ровно, без надрыва, как читают список покупок. — Я ей звонил вчера. Она сказала: «Пап, я не могу». И положила трубку.

Михаил молчал.

— А у вас? — спросил мужчина.

— У меня сейчас тоже никого, — сказал Михаил. И это было правдой: мать умерла, жена ушла, коллеги перестали звонить через месяц, а Женя… Женю он не стал называть. — Я вообще-то психолог. Меня учили, что говорить в таких случаях.

— И что надо говорить?

— Не знаю, — сказал Михаил. — Я не знаю, что вам сказать.

Мужчина наконец обернулся. У него было обыкновенное лицо, усталое, с двухдневной щетиной, и в этом лице не было ничего страшного, ничего трагического. Просто человек,

которому очень холодно и очень не хочется домой.

— Вы плохой психолог, — сказал он.

— Да, — согласился Михаил. — Я на днях уволился.

— Почему?

— Потому что не спас одного человека. — Михаил посмотрел на воду. — И решил, что больше не буду.

Мужчина долго молчал.

— И как? — спросил он. — Помогло?

— Нет.

Они стояли ещё час. Потом ещё один. Михаил не говорил умных слов, не утешал, не рассказывал, что всё будет хорошо. Он говорил о ерунде: о том, что в октябре на набережной всегда пусто, о том, что вон в том доме на углу раньше была булочная, а теперь аптека, о том, что у него дома есть чайник, который не выключается сам, и это его единственная бытовая драма.

Мужчина слушал. Потом начал отвечать. Потом рассказал про дочь: ей двадцать два, она учится, она не хочет его видеть, потому что он пил три года, а потом бросил, но она уже не верила. Потом рассказал, что его зовут Сергей. Потом заплакал, и Михаил стоял рядом и молчал, потому что это было единственное, что можно было сделать.

К одиннадцати Сергей убрал руки с перил.

— Пойдёмте, — сказал Михаил. — Тут за углом наливают чай. Он ужасный, но горячий.

Они просидели в круглосуточной забегаловке до двух но-

чи. Михаил заплатил за обоих, потому что у Сергея не было денег. На прощание Сергей сказал:

— Я не знаю, что было бы, если бы вы не шли.

— Ничего бы не было, — сказал Михаил. — Вы бы пошли домой, и всё.

Он соврал. Он знал, что соврал. Но в ту минуту ему показалось важным, чтобы человек думал, что он справился сам.

Через месяц Сергей пришёл к нему в кабинет. Заявление Михаила к тому времени уже лежало в отделе кадров, но его ещё не подписали, и он вёл последние приёмы, как ведут последние дни: аккуратно, ни на что не надеясь.

Сергей сел на стул, посмотрел на него и сказал:

— Я тогда на мосту стоял.

— Я помню, — сказал Михаил.

— Я вам жить обязан.

— Вы себе жить обязаны, — сказал Михаил. — А мне вы обязаны чаем. У меня как раз перерыв.

Сергей засмеялся. Это был первый раз, когда он засмеялся, и Михаил вдруг понял, что сидит и улыбается, как дурак, впервые за три месяца.

Он забрал заявление на следующий день. В отделе кадров удивились, но отдали. Он вернулся в кабинет, сел за стол и подумал, что книги он, пожалуй, писать не будет. Книги — это когда всё объяснено. А ему нравилось, когда не объяснено.

—

Михаил закрыл книгу.

За окном демонстрационная природа показывала октябрь: мокрую аллею, листья в луже, фонарь, который ещё не зажёгся. В кабинете было тихо, чай давно остыл, и в книге на букве «Л» всё ещё стоял человек, который умер через год после того, как помирился с дочерью.

— Спасибо, Лев Семёнович, — сказал Михаил вслух.

Слова прозвучали в пустом кабинете обыкновенно, без всякого чуда.

Потом он встал и пошёл в комнату без номера — туда, где пахло бумагой и старым одеколоном, где на полке рядом с чайником лежал ключ на кожаном шнурке. Шкафчик стоял открытый, и табличка на нём висела косо.

Михаил поправил табличку: «Не открывать в присутствии куратора». Потом поставил на полку чайник, проверил, есть ли в нём вода, и вернулся к себе.

Мы, психологи, любим думать, что наша работа — это слова. Что если найти правильный вопрос, выдержать правильную паузу и произнести правильную формулировку, человек соберётся и пойдёт дальше. Иногда он собирается. Иногда он идёт дальше и без нас. Иногда он не идёт никуда, и тогда мы годами перебираем тот разговор, слово за словом, и ищем, где мы недосмотрели.

Спасает не формулировка. Спасает человек, который в трёх шагах и не уходит. Который не знает, что сказать, и говорит об этом вслух. Который стоит на мосту два часа и по-

том идёт пить ужасный чай.

В притчах у такого человека есть крылья и блокнот. В жизни у него есть пальто, холодные руки и полное отсутствие плана. Но делает он то же самое: остаётся.

Иногда этого достаточно. Иногда — нет, и с этим тоже приходится жить.

Михаил сел в кресло, взял чашку с трещиной и поставил её на подставку. Потом налил себе свежего чаю и открыл журнал: на понедельник уже была вписана строчка. Почерк был ровный, аккуратный, с сильным нажимом, и Михаил, глядя на него, почему-то подумал, что человек, который так пишет, наверняка приходит вовремя и извиняется, если говорит слишком долго.

# Тихие совпадения

Задкиэль вошёл без стука, но и не ввалился, как входят те, кто считает, что дверь обязана их любить. Он вошёл тихо, прикрыл её за собой двумя руками, будто извинялся перед ней, и остановился у порога.

Вид у него был такой, что Рахиль при виде его всякий раз начинала обмахиваться веером чуть быстрее обычного: кожаная куртка, видавшая, судя по затёртым локтям, не одно столетие, тяжёлые ботинки, чёрные джинсы с дыркой на колене, кольца на пальцах, пирсинг в брови и татуировки, выползающие из-под рукава на кисть, а на шее висели наушники, из которых доносилось что-то металлическое, приглушённое, но всё-таки различимое. По этому звуку в Канцелярии узнавали его издалека, как узнают по запаху парфюма Гавриила.

— Здрасьте, — сказал он. — Я на приём.

Михаил посмотрел на журнал, потом на него.

— В журнале у меня на сегодня никого.

— Ага. Я без записи. — Задкиэль переступил с ноги на ногу. — Мне, в общем, не горит. Я могу и уйти. Я просто подумал, что если я уйду, то я не приду. А если я не приду, то вы не узнаете, что я не пришёл, и все останутся в неведении. Это нехорошо.

— Тогда садитесь, — сказал Михаил.

Задкиэль сел. Потом встал, снял куртку, аккуратно повесил её на спинку кресла, оставшись в чёрной футболке с выцветшим названием группы, которую на Земле не помнит уже никто, и сел снова. Потом достал из заднего кармана сложенный вчетверо лист, подержал его в руках, как держат то, что вот-вот придётся предъявить врачу, и положил на стол.

— Вот, — сказал он. — Отчёт.

Михаил взял лист. Это была сводка, та самая, квартальная, из тех, что Ариэль рассылала по всем направлениям с печатью «форма 7-М» и подписью внизу. В графе напротив фамилии «Задкиэль, направление тихих дел» стояли нули. Не прочерки, не «нет данных», а именно нули, аккуратно выведенные в столбике, где у других стояли проценты: ноль целых ноль десятых к распознаванию, ноль к узнаванию знака, ноль к обратной связи. Внизу, в графе «комментарий», кто-то из аналитического отдела — Михаил даже догадывался, кто именно — напечатал: «Показатели стремятся к нулю. Методика требует пересмотра».

— Она мне сказала, что это не приговор, — проговорил Задкиэль. — Ариэль сказала: это просто статистика, Киль, не принимай на свой счёт. И ещё сказала, что если я подумаю и перестрою работу, мы через квартал посмотрим.

— И что вы подумали?

— Я подумал, что она права, — Задкиэль сцепил руки в замок и стал смотреть на них. — Я вообще-то не дурак. Я знаю, как это выглядит. У неё радуги, у неё звёзды, у неё

кошки, у неё целое направление с приложениями. У Гава — триста лет сводок, у него хоть какая-то фактура. А у меня что? У меня человек нашёл статью. Ну и где там знак? Где там ангел? Никто не видел, никто не почувствовал, ни в один отчёт это не влезает.

— А что за статья?

— Да разное. — Задкиэль пожал плечами, и в этом пожатии было столько привычной небрежности, что становилось понятно: он рассказывает об этом не впервые. — Вчера вот одному положил на столик в кафе. Рядом с чашкой. Он инженер, у него жена ушла, он три месяца по вечерам сидел в этом кафе и думал, что дальше нет смысла. А я ему подсунул журнал, раскрытый на середине, и там статья про то, как один мужик в девяносто лет построил лодку. Он прочёл. Или не прочёл. Он рукой вот так провёл по странице, будто погладил, и пошёл домой. И всё. И вот что мне теперь — писать в отчёт «погладил страницу»?

Михаил молчал.

— Или позавчера, — продолжал Задкиэль, уже быстрее. — Мужик из такси вышел, забыл зонт, а у него в зонте был конверт, а в конверте — деньги, которые он должен был отдать за операцию матери. Я не могу устроить чудо. Я не могу, чтобы зонт сам прилетел к нему в руки, это будет уже не совпадение, это будет цирк. Я сделал так, чтобы таксист его догнал. Позвонил на телефон, который стоял в машине, и сказал: «Вы зонт забыли». И всё. Таксист вернулся. Конверт

на месте. Никто ничего не понял, и самое главное, никто даже не удивился.

— А почему не удивился?

— Потому что так бывает, — сказал Задкиэль. — Люди не удивляются, когда им руку подают. Они удивляются, когда их бьют. Это, по-моему, единственное, что я за сто лет выучил.

Он замолчал и стал смотреть в сторону окна, где демонстрационная природа показывала тихий вечерний двор, скамейку и женщину, которая кормила кошку, делая вид, что просто вышла подышать.

— Знаете, что самое обидное? — сказал он тихо. — Я не жалуюсь. Я правда считаю, что у меня всё правильно устроено. Только с этим нельзя прийти к куратору. Куратор смотрит в сводку, а там нули. Нули, Михаил. Это как если бы я вообще не работал. И вот тут я начинаю думать, что, может, я и не работаю. Может, я просто хожу по улицам и подкладываю людям журналы.

— У вас есть блокнот? — спросил Михаил.

— Какой блокнот?

— Обыкновенный. Как у Симы.

Задкиэль посмотрел на него с недоумением, потом полез во внутренний карман куртки и вытащил маленькую затрёпанную книжку в кожаном переплёте, из которой торчали билеты, чеки и чей-то давно просроченный талон на метро.

— Это не блокнот, это рассадник, — сказал Михаил. —

Открывайте. Читайте.

— Что читать?

— Последнюю запись.

Задкиэль полистал книжку, отыскал нужную страницу и зачитал вслух, медленно, будто читал чужое:

— «Вторник. Мужик из такси, зонт, конверт. Вернул. Таксист сказал: „Бывает“. Мужик сказал спасибо раза четыре. Хороший день».

Он поднял глаза.

— Ну?

— Хороший день, — повторил Михаил. — Вот ваш отчёт.

— Это не отчёт, — Задкиэль усмехнулся. — Это дневник. Дневники в сводку не идут, у них форма другая. У дневника нет защитной силы, понимаете? Меня по нему никто не восстановит, если что.

— А что должно быть в отчёте?

— Показатель. — Задкиэль сказал это уверенно, как человек, который выучил слово, чтобы не бояться. — Сколько людей заметило. Сколько отреагировало. Какая доля от общего числа. Вот у Ариэль в столбце стоят проценты, а у меня стоят нули, потому что моя работа по определению невидимая. Понимаете, в чём фокус? Я не могу стать заметным, потому что тогда я работаю плохо. И я не могу быть незаметным, потому что тогда получается, что меня нет.

Он положил книжку на колено и накрыл её ладонью, будто защищая.

— Вы знаете, я ведь не всегда так работал, — сказал он. — Лет сто назад я решил, что хватит. Что я тоже могу. Ну, знаете, как в кино: ангел является, свет, голос, всё такое. Я тогда одному человеку устроил неделю сплошных совпадений. Сплошных! Он находил деньги в старых куртках. Ему звонили люди, о которых он двадцать лет не вспоминал. Ему попадались на глаза книги, которые он искал всю жизнь. Я работал, как завод. Я даже гордился.

— И что случилось?

— Ничего. — Задкиэль поморщился. — На третий день он начал бояться. Он решил, что сходит с ума. Он перестал выходить из дома и стал записывать в тетрадку всё, что с ним происходит, потому что ему нужно было хоть как-то это объяснить. А на пятый день я получил бумагу. Официальную, с печатью: «Поступило уведомление о чрезмерном вмешательстве. Просьба ограничить плотность совпадений и представить объяснительную».

— И вы представили?

— Представил. — Задкиэль смотрел в пол. — Я написал, что больше не буду. И с тех пор я держу плотность. У меня всё по чуть-чуть, аккуратно, чтобы человек не испугался. Одно совпадение в неделю, максимум два. Если вижу, что намечается третье, я его отменяю.

— Как отменяете?

— По-разному, — сказал Задкиэль с деловитой грустью. — Если человек должен был встретить нужного попутчика

в автобусе, я делаю так, чтобы автобус пришёл на две минуты раньше. Если он должен был найти книгу на полке, я переставляю книгу на другую полку. Один раз я целую собаку увёл. Хорошая была собака. Ей, правда, потом всё равно повезло с хозяином, но это уже не моя заслуга, это была случайность.

Михаил смотрел на него с любопытством, с каким натуралист смотрит на существо, которое он вроде бы знает, но которое внезапно сделало что-то совершенно не предусмотренное описанием.

— То есть вы, чтобы работать незаметно, научились отменять собственную работу, — сказал он. — И потом пришли ко мне с нулями в отчёте и сказали, что эти нули — приговор.

— А что, не приговор?

— Задкиэль, — Михаил наклонился вперёд. — Посмотрите на меня. Вы подкладываете человеку журнал. Он гладит страницу и идёт домой. Вы звоните таксисту, и конверт возвращается. Никто не удивляется, никто не падает на колени, никто не пишет «спасибо, ангел». Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Что у вас ноль? Да, ноль. Это не ноль работы, это ноль шума.

— Красиво, — сказал Задкиэль. — Только в сводке этой строчки нет.

— И не будет, — Михаил развёл руками. — Совпадение нельзя померить. Оно и не метрика. Это способ быть рядом,

когда нельзя подойти вплотную. Единственный способ, которым мы можем стоять рядом с человеком и не мешать ему при этом жить.

Задкиэль молчал. На шее у него тихо шуршали наушники, из них доносилось что-то на низких частотах, как удары в стену через три квартиры.

— А можно? — спросил Михаил.

— Что можно?

— Послушать.

Задкиэль посмотрел на него недоверчиво, но наушники снял и протянул. Михаил взял, надел один, прислушался, и лицо у него сделалось такое, с каким люди пробуют незнакомое блюдо и не могут решить, нравится им или они просто не хотят обидеть повара.

— Громко, — сказал он наконец.

— Ага.

— И что он поёт?

— Он поёт, что его никто не слышит, — Задкиэль пожал плечами. — Ну, там, в целом. Про то, что он орёт, а никто не оборачивается. Про то, что он всё сделал, а никто не заметил. Обычная такая песня.

Михаил снял наушники, положил их на стол и посмотрел на Задкиэля поверх очков.

— Это же про вас, — сказал он.

Задкиэль открыл рот, чтобы возразить, и не нашёл, что возразить, потому что возражать было нечего.

— Я не ору, — сказал он наконец.

— Вы пришли ко мне с нулями в отчёте и курткой, которая шумит железом на весь коридор. Вы не орёте, вы просто очень заметно и многозначительно молчите.

Задкиэль засмеялся, коротко и хрипло, будто впервые за долгое время, и провёл рукой по волосам, сбив их на лоб.

— Ладно, — сказал он. — Допустим. А что мне делать со сводкой? Мне её в конце квартала сдавать.

— Сдавайте как есть.

— С нулями?

— С нулями, — Михаил откинулся в кресле. — А рядом положите вторую страницу. Не отчёт. Просто страницу. Там, где написано: «Хороший день».

— Ариэль меня с этой страницей съест.

— Ариэль, — сказал Михаил, — недавно убрала из своей таблицы столбец «процент чудес» и до сих пор не может его забыть. Ей тоже нужен кто-то, кто принесёт ей страницу, где написано «хороший день». Только не говорите ей, что это я вам подсказал. Она мне этого не простит.

Задкиэль встал, натянул куртку, поправил наушники, потом вдруг достал свою книжку, раскрыл на последней странице и, придерживая коленом, стал что-то писать, высунув язык от старания. Дописал, закрыл, спрятал во внутренний карман.

— Что вы там написали? — спросил Михаил.

— Ничего. Раздел новый завёл, — Задкиэль посмотрел

на него с вызовом, но вызов получился детский, будто он признавался в чём-то хорошем. — «Хорошие дни». Там пока одна запись. Про таксиста.

— Будет больше.

— Будет, — согласился Задкиэль и пошёл к двери, но у порога обернулся, и в его лице было что-то очень юное, то, чего ни кожа, ни пирсинг не могли скрыть. — Михаил. А тот инженер, который страницу погладил. Он же так и не узнал, что я там был.

— Не узнал.

— А лодку он построит?

— А это уже не наше дело, — сказал Михаил. — Наше дело было положить журнал.

Когда дверь за ним закрылась, в кабинете ещё долго висело эхо тяжёлых ботинок, а потом и оно растворилось в привычной тишине кабинета, в гуле далёкой регистрации.

Мы, люди, живём в мире, где всё считается. Шаги, калории, подписчики, проценты эффективности, время доставки. Мы привыкли, что ценное поддаётся измерению, а если не поддаётся, значит, его и нет. И потому мы никогда не узнаём, сколько раз нам подкладывали нужную книгу, разворачивали автобус, возвращали зонт с конвертом, оставляли на столе раскрытый журнал. Мы называем это совпадением и идём дальше пить кофе.

А где-то в Душевной Канцелярии, в кабинете, где всегда вечер, сидит человек в шерстяной кофте, наливает себе чай

в фарфоровую чашку и думает о том, что самая незаметная работа — она и есть самая надёжная. Потому что если бы она была заметна, мы бы уже давно её отменили.

# Когда хочется вмешаться

Вечер в кабинете Михаила начинается не с сумерек, а с пластинки. Он ставит её сам, сам опускает иглу, сам отходит к креслу, и дальше кабинет живёт в том темпе, который ему задали: медленно, с шероховатым потрескиванием, будто кто-то очень старый и очень терпеливый рассказывает историю, в которой давно известен конец.

Приёма в этот вечер не было. В журнале стоял прочерк, и Михаил, допив чай, вписал в него ещё один: день закончился, надо его закрыть. Так закрывают ставни.

А закрывать было что. Утром прибегал Сима с двумя блокнотами и лицом человека, который ещё не знает, что у него всё получится. Днём приходила Ариэль и унесла переименованный столбец. В пятницу — это уже почти неделю назад, но в Канцелярии время идёт странно, и пятница тут всегда немного вчера — Ветеран показывал ему шкафчик. А вчера вечером в кабинет вошёл парень в косухе и положил на стол лист, где напротив его имени стояли нули.

Михаил сидел в кресле, слушал виолончель, смотрел на огонь в камине, и в голове у него, как всегда к концу дня, шла тихая работа: он раскладывал чужие слова по местам, отмечал, где ему соврали, а где соврали себе, и думал о том, что за триста лет слушания он так и не научился главному. Он не научился не уносить чужие раны с собой. Он научился

только не показывать, что уносит.

За окном демонстрационная природа показывала ночной парк: фонари, мокрая дорожка, летящий на свет снег, хотя на дворе стояла осень и заказывать снег никто не просил. Михаил посмотрел на него, предположив, что это октябрь, и не стал поправлять. Октябрьской ночью природа тоже имеет право на свои маленькие срывы.

Он как раз взял щипцами заварку, когда в дверь постучали. Не кулаком, не тростью, а чем-то лёгким, шелестящим, и стук этот был такой деликатный, что, если бы Михаил не знал всех оттенков здешней тишины, он бы его и не услышал.

— Входите, — сказал он.

Дверь открылась, и в проёме показалась Рахиль: сначала веер, потом платье. Платье было старинное, восемнадцатого века, из тех, что застёгиваются на спине, с шёлком, с тесёмками, с тканью, которую нынче не делают, а если и делают, то не так; ей, надо сказать, это шло, поскольку было сшито не по моде, а по ней. Тучная, высокая, с напудренными волосами, с веером в руке, она занимала дверной проём так основательно, будто за ней стояли ещё три таких же.

— Не спится? — спросила она.

— Я в этой комнате никогда не сплю, — сказал Михаил. — Мне тут всегда вечер. Входите, Рахиль, он длинный.

Она вошла. Веер в её руке, тёмно-бордовый с золотой костяной ручкой, раскрылся сам собой, и в кабинете сразу стало на два градуса прохладнее.

— Я не помешаю?

— Вы уже вошли.

— Я могу уйти, — сказала Рахиль без всякой обиды, просто для порядка.

— Можете. Но тогда вы вернётесь, и я буду волноваться, что вы вернулись, а я вас не принял.

Она села в кресло напротив, поправила юбки, сложила веер на коленях, как складывают руки. В такие минуты она была похожа не на куратора и не на администратора смысла, а на заведующую фотографии, которая всю жизнь смотрит на людей через объектив и потому поневоле всё про них знает.

— Музыку можно оставить, — сказала она. — Я не против. У меня к вам не разговор, у меня к вам… — она поискала слово и нашла самое честное: — Мучение.

— Тогда оставим музыку, — Михаил налил и ей, в другую чашку, она была толще и с трещиной по краю, но именно эту чашку Рахиль всегда брала сама.

— У вас трещина, — сказал он.

— У меня много чего, — рассеянно отозвалась Рахиль. — Трещина — это моё лучшее качество.

Она отпила чаю, поставила чашку, развернула веер и начала обмахиваться, хотя в кабинете было прохладно. Так она всегда делала, когда собиралась сказать то, за чем пришла, и Михаил откинулся в кресле, чтобы дать ей место.

— Ночью мне приносят то, что днём не принято приносить, — сказала Рахиль. — Днём ко мне идут с отчётами.

Ночью с тем, что за отчётом.

— И с чем пришли?

— Задкиэль, — сказала она.

Михаил не изменился в лице, но что-то в кабинете, возможно, и изменилось, потому что Рахиль посмотрела на него внимательно и продолжала чуть тише.

— Он вчера приходил к вам, я знаю. Я не подслушиваю, я просто вижу, кто в какую дверь вошёл, это часть моей работы. И вчера же вечером ко мне пришла его докладная. Он написал сам, до того, как прийти к вам. — Она развернула веер и вытащила из-за подкладки сложенный лист, тонкий, как папиросная бумага. — Вот. «Прошу рассмотреть: в двадцать три сорок, при исполнении, я допустил попытку прямого вмешательства. Не довёл до конца. Прошу наказать по регламенту».

Михаил взял лист, прочёл и вернул ей.

— И что он вам рассказал?

— Ничего не рассказал. — Рахиль защёлкнула веер. — Он написал фамилию подопечной, время и статью, которую хотел нарушить. И всё. Мне нужен контекст, иначе я не смогу решить, а если я не смогу решить, я подпишу по форме, а по форме тут выйдет выговор, а выговор, Михаил, не помогает. Выговор только учит прятаться.

Михаил отставил чашку, встал и подошёл к камину. Огонь в нём держался ровно, бездымно, как всё в этом кабинете, и только по длинным языкам было видно, что за окном всё-

таки настоящая ночь, а не заказанная.

— Он мне тоже ничего не рассказал, — сказал Михаил. — Он приходил с отчётом, где у него нули, и жаловался на сводку. О женщине не сказал ни слова.

— Значит, у нас нет контекста.

— У вас есть логи.

Рахиль помолчала, потом открыла веер и вытащила оттуда второй лист, ещё тоньше. Она всегда носила бумаги в веере, и Михаил давно подозревал, что там у неё помещается годовой архив.

— Есть логи, — согласилась она. — Двадцать три сорок одна. Ангел Задкиэль, направление тихих дел, приближение к объекту на дистанцию прямого контакта. Двадцать три сорок шесть. Попытка физического воздействия на имущество объекта. Двадцать три сорок семь. Отмена действия. Двадцать три сорок восемь. Ангел покинул зону.

— Какое имущество?

— Машина. — Рахиль подняла глаза от листа. — Старая, плохая, из тех, что заводятся с третьего раза и глохнут на светофорах.

Михаил вернулся в кресло и сел.

— Рассказывайте, что было дальше.

— Дальше я не знаю. Логи кончаются на том, что он ушёл. Объект в порядке, насколько я могу судить: доехала, вернулась, утром вышла на работу. Обычная женщина, тридцать девять лет, две работы, дочь-подросток. В ту ночь дочь не

брала трубку, и она поехала.

— Ночью? — спросил Михаил. — На старой машине, после двух работ?

— В том и дело, что после двух работ. То есть, простите, в том и беда. — Рахиль обмахнулась веером. — Я понимаю, что он хотел сделать. Я бы, наверное, хотела того же. Заглушить эту машину, чтобы она не завелась, чтобы женщина осталась дома, выспалась, а утром узнала, что дочь просто не слышала звонка и что всё обошлось. И вся заслуга была бы у него. Тихо, никто не заметил, и никаких нулей в сводке.

— И что вы об этом думаете?

— Я думаю, что он поступил правильно, когда остановился, — сказала Рахиль, и веер у неё в руках на секунду замер. — И я думаю, что от этого мне не легче. Потому что если бы не остановился и случилось бы что-то, я бы сегодня не сидела тут с чашкой. Я бы подписывала бумаги. И что бы я ни подписала, женщине бы это уже не помогло.

Михаил долго молчал. За окном в демонстрационном парке шёл снег, которого не заказывали, и ложился на мокрую дорожку, и таял.

— А знаете, что самое интересное? — сказал он наконец. — Если бы он заглушил мотор, ничего бы не вышло.

— То есть?

— Она бы решила, что машина сломалась, и вызвала такси. Или поехала бы на первом автобусе. Или пошла бы пешком, потому что дочь не берёт трубку, а мать, у которой дочь

не берёт трубку, пешком пойдёт, если понадобится. Люди обходят препятствия, Рахиль. Это их главный талант. Мы ставим им стену, а они находят калитку, и калитка эта всегда с другой стороны, и её всегда открывает не тот, кого мы послали.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.